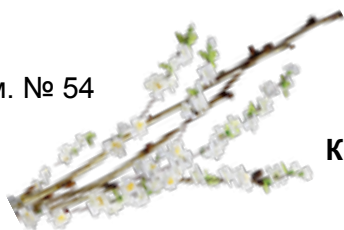


# Саломея

Приключения, почерпнутые  
из моря житейского.  
Александр Фомич Вельтман.

Начало см. № 54



Продолжение...

## КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

### Часть десятая

#### IV



- Господи, благослови! - проговорила мать. Принимая лекарство, Машенька взглянула мельком на Ивана Даниловича, Иван Данилович вздрогнул и чуть-чуть не выронил из рук рюмки: так этот взор, налитый электричеством, встряхнул его, несмотря на то, что стекло не проводник живой силы. Машенька опустила головку и, казалось, снова забылась.

- Пожалуйста, чтоб никто не беспокоил ее, - сказал Иван Данилович.

- Ступайте, ступайте отсюда, - сказала мать Машеньки шепотом, махнув рукою на баб. - Скажите, батюшка Иван Данилович, - продолжала она, выходя в другую комнату, - что ж это за болезнь такая у Маши?

- Расстройство нервическое, - отвечал Иван Данилович.

- Что ж это за расстройство такое, Иван Данилович? Желудок, что ли, расстроен?

- Нет, нервы, вообще.

- Нервы... Иван Абрамович, поди-ко сюда... я уж понимаю: это, стало быть, вся внутренность? Ах ты, Господи! Да отчего же это?

- Может быть, какой-нибудь испуг, - сказал Иван Данилович.

- Испуг? Да какой же? Она, кажется, ничего не испугалась; да и чего же ей пугаться-то...

- Ах, матушка Анна Федоровна, а наемни-то, как вот они изволили проходить по улице, - отозвалась няня, которая не утерпела, чтоб не прислушаться, что говорит доктор барыне насчет Машеньки.

- Ах, да, в самом деле, именно, вдруг что-то ей тогда померещилось, что ли...

- С самого того вот времени, как вы, батюшка, проходили мимо нашего дому-то, - продолжала няня, - она так и обомлела.

«Я проходил? - подумал Иван Данилович в недоумении. - Когда это я проходил? И не заметил...»

И он глубоко вздохнул от сладостного ощущения.

- Так обомлела, - продолжала няня, - что я на руках ее донесла до постельки! Говорю: родное ты мое дитяtko, что с тобою?

- Ну, ну, ну, ступай уж, - крикнула Анна Федоровна, - сама я сумею рассказать как следует. Ты поди сядь подле Маши, да не отходи, и прибеги сказать, как очнется.

Няня неохотно повиновалась приказанию барыни: ей хотелось послушать, что скажет доктор. Она присела подле постели Машеньки и начала что-то бормотать про себя. Машенька глубоко вздохнула и открыла глаза.

- Ах, сударыня, а мы думали, что ты соснула.

- Няня, - проговорила Машенька, - какой это офицер здесь был?

- Это, сударыня, вишь, доктор.

- Доктор? Какой же это доктор: это офицер со шпагой.

- При шпаге, при шпаге; у полковых-то, верно, такой обычай: кому-нибудь из них надо править и докторскую должность...

- Ах, как страшно, нянюшка! Он меня шпагой-то не убьет?

Христос с тобой! Вот еще придумала! Ты посмотрела бы, что за добрейший человек, да какой ласковый, тихой; я не знаю, для чего он и шпагу-то носит - разве что вот против французов, чтоб не напали... Ах, да, ведь барыня велела мне доложить, как ты проснешься, сударыня; доктор-то хочет посмотреть на тебя.

- Ах, нет, нет, няня! Не говори! - вскрикнула Машенька обычным своим звонким голоском.

- Боже мой, что с ней! - вскрикнула Анна Федоровна и побежала к дочери.

Иван Данилович бросился вслед за ней, вообразив, что с больной сделался припадок. Но когда он вошел в двери, Машенька лежала уже спокойно, закрыв глазки.

- И не думала кричать, сударыня, - шептала няня на вопрос Анны Федоровны, отчего вскрикнула Машенька, - и не думала.

- Ох, врешь!

- Ей-ей! Она спросила только про доктора.

Анна Федоровна присела подле постели и знаком просила садиться и Ивана Даниловича.

Он сел против нее; ему хотелось бы, не сводя глаз, смотреть на больную, наблюдать, как она вдыхает обыкновенный душный воздух комнаты, а выдыхает из себя как будто благовония счастливой Аравии; но странно, что-то мешает ему взглянуть на нее. Иван Данилович не мог отдать себе отчета, что мешает ему смотреть на больную; но, наконец, понял. «Зачем она тут сидит, мешает только мне!» - подумал он.

Иван Данилович уселся и сидит, молчит, забыл о своей обязанности посетить полковницу и двух больных офицеров, забыл о квартире, о денщике, у него в голове одно: «Хоть бы на одну минуту вышла она!»

Анна Федоровна совсем другое думает: «Какой попечительный человек!» Но ей ужасно как хотелось поговорить с Иваном Даниловичем, как с новым человеком, о разных разностях, а как с доктором о некоторых своих недугах.

- Она, кажется, уснула, - прошептала она, - не оставить ли ее? Пойдемте в залу.

- Ах, нет, - отвечал Иван Данилович тихо, - я посижу тут; вы извольте идти, может быть вам нужно по хозяйству...

- Нисколько, - сказала Анна Федоровна - я уж всем с утра распорядилась.

Иван Данилович глубоко вздохнул.

- Приготовить бы свеженькой водицы, - сказал он.

- Есть; вот только сейчас принесли.

Иван Данилович еще тяжелее вздохнул.

- Да, позвольте, - сказал он, - это какая вода - сырая?

- Как сырая?

- То есть, не отварная?

- Нет.

- Так, пожалуйста, прикажите отварной принести из самовара.

- Сейчас, сейчас велю вскипятить.

Анна Федоровна вышла приказывать, а Иван Данилович с трепетным сердцем устремил было пытательный взор на больную, но Машенька вдруг взглянула.

Иван Данилович вздрогнул, смутился, схватил сткляночку с лекарством, начал отсчитывать в пустую рюмку капли; но нет возможности: одна, две, три... и вдруг как плюхнет. «Ах, Господи! Кажется, тут будет десять!» - думает он; впился глазами в горлышко пузырька, чтоб отсчитать еще пять капель. Но перед глазами как будто залетали мухи, руки дрожат, капли как будто исчезли из пузырька, перелились в него самого и каплют с лица. «Господи! - думает он, - зачем я прописал капли!...» И Иван Данилович опять с усилием смотрит на горлышко пузырька, но руки ослабели от напряжения, опустились.

- Вода, вода, - шепнула под ухо ему Анна Федоровна. Он вздрогнул.

- Нет, уж позвольте, - сказал он, - я пойду принесу пилюльки...

И он, забыв свою шляпу, бросился почти бегом домой. К счастью, у калитки навстречу ему Филат.

- Ах, барин, это вы! - крикнул Филат, которого он сбил было с ног, - полковница прислала, пожалуйста! А шляпа-то, сударь?

- Ах! - проговорил Иван Данилович, схватившись за голову, - я и забыл.

Заботливый Филат вбежал в дом и добыл барскую шляпу.

Иван Данилович стоял у ворот и думал, в каком виде прописать лекарство вместо капель.

«Пилюли? - думал он, - нет! Избави Боже, остановится еще в горле... Порошочки? Горькой, неприятный вкус. Микстурку? Еще хуже: неравно поднимет рвоту...

Взяв шляпу из рук Филата, Иван Данилович ни с места, продолжает думать, какое бы лекарство прописать больной, чтоб оно было ей приятно. Лучше всего в виде прохладительного питья...

- Что ж вы, сударь, к полковнице-то?

- Ох, уж эта мне... надоела! - крикнул Иван Данилович. - Не хочу, ну, не пойду, черт с ней!

- Да как же это можно, Иван Данилович! - сказал Филат, - ведь это невозможно, сударь: полковница требует вас к себе, а вы не пойдете.

- Причуды только одни! Брось больных для нее, да беги! Да я не хочу, ну, не хочу, вот и все! - продолжал Иван Данилович, идя задумавшись к себе на квартиру.

- Да ведь что ж, Иван Данилович, хоть бы и причуда, вам-то что за дело! - продолжал Филат, - в службе-то, говорят, не рассуждай. Если полковница требует лекарства, что вам жаль, что ли, его? Да хоть всю полковую аптеку выпей, эка беда! Да куда ж вы идете? Извольте идти к полковнице.

А! - произнес Иван Данилович с сердцем, махнув рукой, и пошел на квартиру полкового командира.

Полковница в самом деле была неисповедима в своих причудливых болезнях. Кроме настоящей тягости, у нее поминутно проявлялись какие-то побочные тягости: то тягость в голове, то под ложечкой, то тягость в руках и в ногах, то тягость во всей; то какие-то тягостные мысли мучили ее, словом, она тяготилась всем; то «Как это несносно, поминутно в глазах офицеры!», то «Как это скучно, никто не хочет прийти! Своих офицеров надо звать! Никакой преданности!», то «К чему это все навтыяжку!», то вдруг «Какая вольность, садится без приглашения!...»

Полковник был славный человек, но жена его сбила с толку, и он стал как маятник: то добр, ласков и внимателен, то угрюм, привязчив и груб.

По наружности полковница была премиленькое существо, воплощенная доброта и приятность, как говорится: невозможно не любить такого ангела! Но, хорош конь, конь, каких мало бывает, да с норовом: прямо, ровным шагом идет, славно идет; но чуть вожжой направо, а он налево; чуть нукнешь» а он на дыбы или стал Архимедовым рычагом, с места не сдвинешь. Такова была и полковница: против собственного побуждения и желания она не умела ходить; ни обстоятельства, ни приличие, ни дружба, ни любовь, ни необходимость - ничто не смей ей понукать, тотчас на дыбы, а потом в слезы и в постелю.

И вот бегут за Иваном Даниловичем. Бывало, Иван Данилович бежит сам, а теперь Филат насилу его уговорил.

Приходит. Видит: лежит полковница почти без чувств, бледная, страдающая, тяжело дышит.

- Что такое-с? - спрашивает он у полковника.

- А кто ее знает, - отвечает полковник, пожимая плечами.

Иван Данилович шупает пульс - пульс так и колотит. Но вот вылетел глубочайший вздох, вот открыла глаза.

- Что вы чувствуете? - спрашивает Иван Данилович.

Страдающая молчит, тяжело дышит, прикладывает руку к голове.

- Вы чувствуете боль в голове?

- Да! - отвечает она наконец.

- Под ложечкой у вас не болит?

- Болит, - произносит полковница слабым голосом, и вдруг слезы, всхлипывание.

«Хм!» - подумал с досадой Иван Данилович, торопливо выходя в другую комнату писать рецепт.

- Что? - спросил полковник.

- Ничего; это маленький нервный припадок, спазмы. Я пропишу капельки.

- Да помилуйте, все ничего, - крикнул полковник. - Это ничего всякой день повторяется! Нервное расстройство - да ведь это болезнь?

- Конечно-с,

- Ну, так что ж тут ваши капельки? Вы мне лечите ее фундаментально!

Иван Данилович знал полковника; рассуждать с ним в минуты сердца нельзя, все равно что на огонь лить масло. Капельки не нравились полковнику, капельки пустяки, сказал. И Иван Данилович прописал порошки.

- Вот-с, через час по порошок.

- Да это меня не касается, - сказал полковник, - вы как знаете, так и давайте.

«Ах ты, Господи! - подумал Иван Данилович, - сиди тут как привязанный».

- Вот-с, легонькие порошокочки, - сказал он, подходя к страдающей, - когда принесут, сделайте одолжение принимайте через час; а я сейчас возвращусь.

- Куда вы? Нет, нет, нет...

- Мне нужно навестить одну опасно больную.

- Нет, нет! Сядьте, покуда я приду в себя. Здесь нет человека, который бы позаботился обо мне. Все думают только о самих себе да о своем спокойствии. Я хоть умирай!

- Не расстраивайте себя такими мыслями, - начал увещевать Иван Данилович.

- Не расстраивайте! Поневоле расстроишься! Никто не хочет принять участия!  
- Помилуйте, возможное ли это дело... как не принимать участия!  
- Ах, не говорите, пожалуйста! Женщина несчастное создание! На ее долю только страдания да болезни, и больше ничего! Мужчина свободен, мужчина что хочет делает, никому не дает отчету, живет да наслаждается жизнью. А женщина - я, например - что я такое? Прикованная невольница. Поят, кормят, и будь довольна, считай это счастьем!

- Помилуйте, зачем же так думать.  
- А как же, по-вашему, думать?  
- У мужчины свои обязанности; служба, ответственность.  
- Служба! Ах, какая трудная вещь!  
- Помилуйте-с, - начал было Иван Данилович.  
- Да нет, полноте, не противоречьте мне! Я не могу переносить пустых противоречий! Ах, Господи, какая боль! За лекарством целый день проходят! И приказать некому, чтоб прибавили шагу. Только учебный шаг и в голове.

Иван Данилович закусил язык и молчал. И от нетерпения скорее отделаться от полковницы думал: «Господи, что не несут так долго лекарство!»

Но вот принесли. Он схватил порошок, всыпал в рюмку воды, размешал.

- Не угодно ли выкушать?  
- Ах, терпеть не могу лекарства! - проговорила полковница, приподнимая голову. - Фу, какая гадость! Я этого не могу принимать. Нет, нет, нет! Подите вы прочь с этим... тошно! Дайте скорей воды! Никакого нет участия к человеку...

«Вот, поди лечи фундаментально!» - говорил сам себе Иван Данилович, стоя подле полковницы и не зная, что делать. - Так позвольте, я принесу капельки, - проговорил он, наконец.

- Те горькие-то?  
- Нет-с, я пропишу сладенькие, вроде сиропцу.  
- Сладкое лекарство, фу! Слушать, так тошно.  
- Так какое-нибудь наружное средство...  
- Катаплазмы? Нет, пожалуйста, избавьте от них!  
- Нет, просто можно... припарки, согреть полотенце.  
- Ну, хорошо.

«Слава Тебе Господи!» - подумал Иван Данилович. Он думал этим отделаться. Но припарки то горячи, то холодны; вот и сиди, слушай докучную сказку, да пригоняй теплоту. Терпение Ивана Даниловича лопнуло. «Ой-ой-ой! - подумал он, - попадет такая жена! Избави Бог! Не женюсь!» И с этой мыслью вдруг исчезла в нем сила тяжести, и ему стало легко. Невидимая нить, которою тянуло его к больной Машеньке, как будто порвалась, он вздыхал, зевал, но по обычаю терпеливо уже сидел как сестра милосердия у причудливой полковницы. Поздно уже его отпустили. Утомленный, он отправился домой. Только что он в двери:

- Иван Данилович, - сказал ему Филат, - от Волиных раз десять присылали, я все говорил, что полковница при смерти больна, так вам нельзя; так и барышня-то, говорит человек, умирает.

- Нет, спасибо! Эти мне умиранья вот здесь сидят. И Иван Данилович показал на затылок.

- Ну, как изволите, в самом деле не растянуться: от полковницы-то вы всегда приходите словно в мыле. Жаль только эту барышню-то; говорят, что такая ангельская душа... да что ж делать: на то воля Божья. Умрет так умрет.

- Постой, - сказал Иван Данилович Филату, который уже насилу стянул с него один, точно смоченный водою рукав мундира, - постой... я пойду.

- Да вы хоть бы отдохнули сперва.  
- Нет, пойду.  
- Эге, вот он стучит опять.  
- Скажи, что я сейчас приду.

И Иван Данилович натянул снова рукав, схватил шляпу и бросился в двери.

- Батюшка, сударь, помилуйте, - начал было умоляющим голосом присланный человек.

- Иду, иду, любезный!

Через несколько минут Иван Данилович утирал уже лицо платком, входя в покой, где лежала Машенька.

- Иван Данилович! - прошептала мать, встретив его, - умерла было без вас!

Иван Данилович подошел к больной, взял ее за руку, и все жилки забились в нем, когда она вздохнула, очнулась и взглянула на него.

- Что вы чувствуете? - спросил он.

- Ах... теперь ничего, - произнесла тихим чудным голосом Машенька.

- Не противно ли вам лекарство, я пропишу другое? - сказал Иван Данилович, напуганный неугодой вкусу полковницы.

- Ах нет, оно такое приятное, - отвечала Машенька, не сводя томного взора с Ивана Даниловича, - как приму, так и лучше мне...

У Ивана Даниловича забилось сердце: в Машеньке встретил он первого пациента, которому угодил вкусом лекарства. Приятно ли в самом деле медику видеть, как морщатся да еще и плюют на подносимую чашу здоровья. В словах: лекарство приятно, по душе - заключалось торжество Ивана Даниловича, его профессии и всей науки.

- Ангел! - произнес он невольно про себя; но известно, что при напряжении нервов чувства ужасно чутки: Машенька слышала, что он сказал, взглянув на нее с умилением сердца...

И вот Иван Данилович почти не отходит от ложа Машеньки. Ей все лучше и лучше; ей только дурно тогда, когда долго задерживает его у себя полковница.

- Ах, как вас долго не было, - говорит она ему, - я было без вас умерла.

В самом деле болезнь Машеньки была особенного рода: редкому медику случается понимать ее. Каждый стал бы пичкать лекарством; но Иван Данилович понял, что болезнь ее есть именно та болезнь, которую из пассивной должно обращать в хроническую, и постоянно, неумолимо, неотлагаемо наблюдать за нею.

Эта болезнь по глазам виднее всего. Иван Данилович и не сводил своих глаз с глаз Машенькиных. Ей как будто самой хотелось, чтобы он проник по глазам в глубину ее души и понял, чем она страдает. Взаимное строгое молчание и взаимная неподвижность были бы непрерывны, если б никто не мешал своим присутствием, участием и беседою некстати. Иногда только и Иван Данилович и Машенька глубоким вздохом переводили дух.

Право сидеть в этом положении по целым дням казалось Ивану Даниловичу таким правом, которого ни одна профессия, кроме профессии мужа, не может доставить. Он благословлял уже медицину, что она доставила душе его блаженство постигать болезнь Машеньки.

Вдруг приказ: "Такой-то полк выступить немедленно в поход". Это просто ужас в подобных обстоятельствах. Иван Данилович пришел как убитый, ни слова не говорит.

Машенька, взглянув на него, затрепетала.

- Что с вами, Иван Данилович? - спросила мать ее.

- Полк идет в поход. Завтра выступать, - проговорил он.

Машенька вскрикнула и обмерла.

- Машенька! - вскричала и мать, бросаясь к ней.

- Марья Ивановна! - проговорил и Иван Данилович. - О, Господи! Скорей... Кто тут есть? Ах, она умирает!

И он схватил ее руку, стал на колени, и голова его, как срубленная, упала на руку Машеньки.

Вошел отец:

- Что такое?

Вбежала няня, всплеснула руками и онемела.

- Машенька! - вскрикнула снова мать.

- Что такое, душа моя? Что с ней? - проговорил отец.

- Матушка, голубушка ты моя! - завопила няня, бросаясь на постелью к ногам Машеньки.

Но вот она стала приходить в себя.

- Спирту! Воды! - проговорил осиплым голосом Иван Данилович. - Выпейте, Марья Ивановна.

- Не хочу! Я умру! - проговорила измолкшим голосом больная.

- Иван Данилович, помогите! - вскричала мать, схватив его за руки.

- Что я теперь сделаю! Завтра поход! - проговорил Иван Данилович.

Машенька вдруг тяжело задышала, спазматическое рыдание стеснило ей грудь, слезы катились градом.

- Иван Данилович, что мы будем делать, как вы уедете? - сказала, залившись слезами, и мать.

- Я не поеду! Я хоть в отставку! Мне нельзя оставить Марьи Ивановны, - отвечал Иван Данилович, не помня себя.

- Марья Ивановна, выпейте воды.

- Ах, дайте! - произнесла она.

Хлебнув воды, она схватила руку Ивана Даниловича и, всхлипывая от волнения в груди, проговорила:

- Не уезжайте, я умру без вас!

- Не уезжайте, Иван Данилович, - повторила и мать.

Отец, стоявший, повесил голову, подле кровати, как будто очнулся: заложив руки назад и задумавшись, он прошелся по комнате.

- Глупо выходить в отставку, - сказал он сам себе. - Послушай, душа моя, - продолжал он, позвав жену, - ну, каким образом Иван Данилович выйдет для нас в отставку? Он по доброте, пожалуй, на все готов, да чем же мы ему заплатим?

- Ах, мои батюшки, да что ж делать-то - уморить Машу? Он сам видит, что нельзя ее оставить так.

- Да чем же мы заплатим-то за это?

- Чем? Уж он будто такой человек, что будет с нас требовать платы.

- Хм! Из каких же доходов он бросит службу?

- Из каких! Ох уж не люблю, как такие вещи говорят. Да и до того ли теперь; дочь умирает, а он думает, чем расплачиваться с доктором! Право!

- Ох, вы!

Машенька поуспокоилась. Но отец ее все еще продолжал беспокойно ходить по комнате; вызвал потихоньку Ивана Даниловича и, откашлянувшись, сказал ему:

- Иван Данилович, я вам признательно вперед должен сказать, что мне нечем платить за заботы ваши о Маше. Вы же сказали, что готовы и службу оставить, лишь бы не оставить ее без помощи...

- Нельзя оставить ее в таком положении, - сказал смущенный Иван Данилович.

- Чем же мы заплатим вам за такую жертву?

- Мне ничего не надо.

- Ну, мое дело было сказать.

На другой день полк выступил, а Иван Данилович взял на две недели отпуск.

Он спокоен, и Машенька спокойна, встает уже с постели, весела. Но время отпустило. Иван Данилович задумался.

Машенька что-то опять припала.

Несмотря на материнскую прозорливость, мать ее несколько не понимала ее болезни. Она думала, что, слава Богу, Машеньке гораздо лучше. Но отец, спроста, понял, в чем дело.

- Иван Данилович, - сказал он ему, - вы подняли Машу из гроба... а мы вам обязаны по гроб. Чем заплатить вам за добро? Маша у нас одно богатство... берите хоть ее, если по сердцу.

У Ивана Даниловича слезы выступили из глаз от радости, он бросился на шею к отцу. В это время вошла мать Машеньки.

- Душа моя, я говорил тебе, что с Иваном Даниловичем придется расплачиваться за вылечку Маши. Он просит много... словом, все, что у нас есть за душой.

Она испугалась.

- Иван Данилович, - проговорила она, - вы знаете, что мы не имеем состояния, рады отдать вам все, да ведь у нас дочь невеста.

- Вот то-то и есть, что дочь невеста, - сказал отец.

- Так вы сами подумайте...

- Он уж думал об этом.

- Что думал?

Иван Данилович, смущенный, безгласный, бросился к руке.

- Осчастливьте!

- Господи!

Машенька вспрыгнула от радости три раза: на шею отца, на шею матери и на шею Ивана Даниловича. Денщик Филат надулся: он думал, что вот тебе раз! Пойдет хозяйство! Да какова-то еще!

## V

Женитьба - прекрасная вещь: спросите у всех, которые женились и вышли замуж по душе и живут себе припеваючи в любви и согласии. Но это, говорят, просто счастье: чужая душа, говорят, потемки. Ну, засветите фонарь: друга и посреди белого дня надо искать со свечой.

Иван Данилович женился. Марья Ивановна, несмотря на страшное впечатление, которое производила на нее шпага, висящая у боку его, вышла за него замуж с условием, чтоб он никогда не обнажал этого убийственного орудия и не ходил на войну.

- Помилуй, Машенька, чего ты боишься! - говорил ей Иван Данилович, - ведь это больше ничего, как оффиция.

- Ну, ну, оффиция! Бог с ней! Поставьте ее в угол, Иван Данилович, я боюсь ее.

- Эх, сударыня-барынька, вот этим только вы изволите быть не хороши, что шпагу не любите, - заметил Филат, который всегда вмешивался в беседу молодых супругов, - сами вы посудите, как же барину быть без шпаги? Не приходится, сударыня; ведь он не арестованной...

- Ну, разговорился, ступай себе! - прервал его Иван Данилович, который, однако же, привык к радушной бесцеремонности Филата.

- А вот как пошлете за чем, так и пойду. Что ж мне так-то ходить, - отвечал Филат, - на кухне у меня все в исправности; там я сам за собой хожу; а вот здесь барынька-то еще порядков не знает, так и надо присмотреть, не равно что спросите.

Ивану Даниловичу надоедает присутствие Филата, а Марья Ивановна рада ему; ей все кажется, как будто опасно оставаться одной с мужчиной.

- Не гоните его, Иван Данилович, - упрасивает она, когда Иван Данилович скажет: «Ну, ступай, ступай себе!»

Женившись и отправляясь на новоселье полка, Ивану Даниловичу неудобно было взять с собою женскую прислугу, и потому решили до приезда на место обойтись без нее.

- Да и зачем, - говорил Иван Данилович, - у меня Филат и кухарка и прачка; вот только разве девка будет нужна одевать Машеньку.

- Вот какие пустяки! - возражала Машенька, - как будто я сама не могу одеться!

- Она у меня с малолетства так приучена, что уходов больших за ней не нужно, - прибавляла мать.

Таким образом молодые супруги и отправились в полк, в сопровождении только одного Филата. А Филат тому и рад, потому что он уже начинал горевать и задумываться: уж как заведутся где, думал он, бабы, так там порядка не ожидай... это уж такая порода. Удостоверившись же, что все должности остаются при нем, да еще сверх должностей кухарки и прачки возлагается на него должность горничной, - Филат ожил. «Да что они думают, - бормотал он под нос, - велик труд прислужить барыне? Подать умыться или на шею платочек-то подать? Поди-ко-сь! Нет уж, сударыня-барынька, вы не извольте насчет меня беспокоиться; я видел всю прислугу-то девичью; вот только разве манишечек не разглажу... Не разглажу, так выкатаю, так еще и лучше будет, сударыня».

- Манишечку я сама разглажу, - говорила Марья Ивановна.

- Так вот оно и все. А вот что я скажу вам по долгу обязанности. У барина-то теперь вы будете справлять, что я справлял. Чай разливать, Вы, сударыня-барынька, взяли на свою ответственность, а не знаете еще, как распорядиться. Давеча изволили налить барину в чашку; он и пил, ни слова не сказал вам. Верно посовестился сказать на первых порах, что он терпеть не может пить в чашке. Так уж вы извольте ему в стакан наливать. Да и сливок-то простых он не любит, а вы налили ему.

- Ах, Боже мой, - вскричала Марья Ивановна, - что ж ты мне давеча не сказал?

- Думал, что сам барин скажет, а он, верно, посовестился. Да еще, вот давеча, я побежал за щеткой, а вы подали барину сами мундир. А порядку-то не знаете: мундир-то он надел, а портупею-то вы не подали. Вот я и отвечай. Сами слышали, как он прикрикнул: «Что ж ты, говорит, шпагу подаешь, а портупея-то где, а?»

- Ах, Боже мой, я, право, этого не знала.

- То-то же, сударыня-барынька. Так вы не извольте не за свое дело братья; а я уж свое знаю: слава Богу, не какая-нибудь служанка - орешки на уме.

Таким образом Филат учил свою барыньку порядкам в доме и был так исправен по части горничной, что не только Иван Данилович, но и Марья Ивановна, приехав на место, забыли о женской прислуге: нет в ней ни малейшей необходимости.

Так прошел год. Ивану Даниловичу Бог дал наследника. Вы думаете, может быть, что прислуга неизбежно увеличилась? Что завелись на квартире Ивана Даниловича няньки и кормилицы? Нимало! Этих должностей Марья Ивановна сама никому не уступила. Она довольствовалась только помощью Ивана Даниловича и Филата.

Честолюбие и способность Филата распространялись и на обязанность няньки.

- Экой труд, - говорил он, нянчиться с ребенком, да еще как весело-то: Агу, Васенька! Вишь какого славного молодца дал нам Бог! Пеленочка-то, сударыня-барынька, немножко мокренька, надо посушить, позвольте-ко я сбегаю посушу перед печкой.

- Нет, лучше чистую; посмотри-ко, чтоб не упал!

- Не беспокойтесь. Васенька, агу! Право, спать-то ему не хочется. Не сварить ли кашки?

На другой год Ивану Даниловичу Бог дал дочку. Васенька поступил на полное попечение Филата. Филат и на базар сбегай, и свари, и подай, и вычисти, и вымой, и

убаюкай Васеньку, и накорми его кашкой, и понянчи его, и везде Филат, и на все ему время: Васенька, как будто по щучьему веленью, спит себе крепко, покуда Филат сбегает за провизией, пока исправляет прочие должности.

Иван Данилович Увалень просто блажен и женой и денщиком. Придет от должности, жена бежит навстречу с Лизанькой.

- На-ко поиграй этой игрушечкой.

- Нет уж, извините, мой-то Васенька получше, - говорит Филат, сидя на разостланном ковре подле Васеньки. - Извольте-ко посмотреть, как мы будем маршировать да выкидывать темп.

И он возьмет красное деревянное ружьецо, начнет выкидывать темп; Васенька, подражая ему, взмахнет ручонками и залется смехом.

- Ну-ко, ну, сам.

И Филат даст Васеньке в руки ружье; Васенька схватит - хлоп по голове учителя и снова захохочет.

- Молодец! Славно! Извольте-ко, Иван Данилович, посмотреть за ним, а я подам кушать.

Еще через год в команду Филата поступила и Лизанька. Иван Данилович на службе, Марья Ивановна кормит и нянчит и убаюкивает Леночку; Филат обложит Васеньку на ковре подушками и игрушками, даст в руки морковку, а сам укачивает на руках Лизаньку. Только что она уснула, он ее в люльку, да и марш.

- Извольте, сударыня-барынька, смотреть, чтоб не убился Васенька, а я сбегаю за молоком. - И сбегает.

Проходит еще год, семья Ивана Даниловича увеличивается, то же самое жалованье растягивается на все потребности; все надо прикрыть; а между тем то там, то сям голо. Но что делать!

К счастью или к несчастью Ивана Даниловича, полк был переведен на новые временные квартиры. Под штаб назначено было село Притычино. Иван Данилович с семейством своим также прибыл в село Притычино и вскоре заболел было горячкою. Полк отправился в поход, а он остался на несколько дней на месте, чтоб собраться с силами.

В это-то время прибыл в свое имение Чаров. Так как это событие нисколько, казалось бы, не касалось до Ивана Даниловича, то он, поднявшись на ноги, тотчас же сказал Марье Ивановне.

- Поедем, душа моя, пора!

Марья Ивановна убедительно просила подождать денька два-три, покуда посаженная ею курица на яйца высидит цыплят. Иван Данилович согласился.

- Эх, сударыня-барынька, болтуны будут, а не цыплята: и наседке-то не сидится что-то на месте, - сказал Филат, как будто по какому-то предчувствию.

Прошли три дня. Оказалось, что Филат прав, вышли болтуны.

- Ну, едем, Господи, благослови! - сказал Иван Данилович, усаживая жену и детей в бричку.

- Да уж поздно.

Только что Филат уселся на козлы, а Иван Данилович занес ногу на подножку брички, вдруг бежит дворовый человек сломя голову.

- Стой! стой!

- Что такое?

- Сделайте милость, сударь, пожалуйста в дом. Барин приказал просить вас Христом Богом: госпожа заболела.

- Да, братец... видишь, - сказал Иван Данилович.

- Сделайте милость, хоть на минутку! Уж там не моя будет вина, как вы сами откажетесь.

- Ах ты, Господи! - проговорил Иван Данилович с досадой.

- Что ж делать, душа моя! - сказала Марья Ивановна, - нельзя же, люди помощи просят.

- Уж конечно, - пробормотал с досадой и Филат, - как поймали за хвост, не уйдешь!

- Ну, нечего делать, схожу на минуту, - сказал Иван Данилович.

Навстречу ему другой посланец, третий, наконец сам Чаров.

- Сделайте одолжение, помогите жене моей, - сказал он, взяв руку Ивана Даниловича и ведя его в покой, где Саломея лежала в постели и стонала.

- Ernestine, вот доктор.

Иван Данилович посмотрел на нее, взял руку, считает биение пульса, качнул головой. Чаров испугался.

«Пустяки!» - думает Иван Данилович.



- Сделайте милость, помогите, я вам буду благодарен по гроб.

- Я принесу лекарства из своей аптечки, это ничего, пройдет, - сказал Иван Данилович.

Нечего делать, надо было вытаскивать из брочки чемодан, из чемодана аптечку, из аптечки пузырек.

- Подожди, душа моя, я сейчас, - сказал Иван Данилович жене, - между тем уложите опять все в брочку.

- Да, сейчас! - сказал Филат, - что у барыни-то, верно, спазмы?

- Спазмы.

- Ну, будет такой же час, как у полковницы.

Филат отгадал. Капли поуспокоили чуть-чуть Саломею; но Чаров решительно сказал Ивану Даниловичу, что он его не пустит, покуда жена его не почувствует себя вполне здоровою, и тут же дал ему сто рублей серебром. Иван Данилович не из денег, но по доброте сердца дал слово остаться еще на день, уверяя, что это пройдет само собою. Но когда Иван Данилович возвратился на квартиру, объявил жене, что остается до завтра, вынул из кармана ассигнацию и развернул. Машенька ахнула. Он остолбенел.

Деньги! Но кто не знает, что только дай деньги в руку, воображение тотчас же начинает писать бюджет необходимых расходов и так займется этим делом, что все забыто.

Филат повесил голову.

- Что ж, сударь, кушать, что ли, готовить? - спросил он Ивана Даниловича поутру, когда тот торопился навестить вольную.

- Нет, нет, мы поедем сейчас же! - отвечал Иван Данилович, уходя.

- Да... поедем! Барыньке-то голодом просидеть, покуда поедем? - И он начал готовить суп из той самой курицы, которая высидела болтунов.

- Что, как чувствует себя ваша супруга?

- Не совсем еще... вот не угодно ли войти.

- Что, сударыня?

- Скажите ему, что спазмы утихли... но вот здесь болит, - отвечала Саломея по-французски, указывая на бок. - И голова очень дурна.

«Хм! придется составить микстуру...» - подумал Иван Данилович. - Я пришлю вам микстуру, так извольте давать через час по ложке, и все пройдет; а уж меня извините, надо ехать.

- Нет, как вам угодно, я вас убедительно прошу пожертвовать мне несколькими днями, - сказал Чаров.

- Он хочет ехать? - спросила Саломея. - Пожалуйста, не отпускай, я здесь умру без помощи. Я чувствую страшное расслабление.

- Я ни за что не пущу его, - отвечал Чаров и уговорил Ивана Даниловича остаться еще на день, потом еще на день.

- Да помилуйте, я не могу, - сказал, наконец, решительно Иван Данилович. - Я служу, остался здесь без отпуска, мне надо непременно ехать.

- Ска-а-тина! - сказал по привычке Чаров, но про себя. - Послушайте, Иван Данилович, угодно вам будет принять мое предложение?

- Какое?

- Быть медиком при моих имениях, с двумя тысячами рублей жалованья. Квартира здесь в доме, во флигеле, экипаж, прислуга, провизия и, наконец, все, что вам угодно?

Иван Данилович задрожал от неожиданного счастья. Прослужив определенный срок в полку, он давно уже рассуждал с женой о затруднениях походной жизни с семейством и желал получить какое-нибудь оседлое местечко с хорошим жалованьем.

- Я поговорю с женой, - сказал он Чарову и тотчас же побежал на квартиру, и вместо всех разговоров и совещаний крикнул: - Маша! Я выхожу в отставку.

Марья Ивановна побледнела, не понимая, что это значит.

- Поздравь, душа моя, и меня и себя: две тысячи рублей жалованья, квартира, прислуга, экипаж, провизия!

Марья Ивановна всплеснула руками от радости. Он рассказал ей о сделанном предложении, и туг же вместе сочинили они счастливую свою будущность; решили, и Иван Данилович пошел в дом, объявил Чарову, что он согласен и тотчас же подаст в отставку.

- Очень рад, - сказал Чаров.

Филат, готовя кушанье в задней избе, ничего не знал и не ведал об этом решении.

- Филат! Филат! - закричала Марья Ивановна, когда он пришел накрывать на стол, - знаешь ли что?

- Что, сударыня?

- Ведь мы остаемся здесь»

- Как?

- Иван Данилович выходит в отставку.

- Владыко Ты мой, Царь Небесный! Что это он вздумал?

- Да как же, - продолжала Марья Ивановна, - он будет медиком при этом именье, будет получать две тысячи в год жалованья, квартиру, экипаж, прислугу...

- Ооо! Господи! - завопил: Филат, хлопнув тарелку об землю.

- Что это ты, Филат, Бог с тобой! - вскрикнула Марья Ивановна, вздрогнув, - ты испугал Леночку.

- Ничего, - отвечал Филат, выходя из комнаты. - Вышел он, остановился посреди двора и зарыдал. Это были первые слезы Филата после того, как ему забрили лоб. Солдатская душа даром не плачет...

Выплакался, постоял на месте, задумавшись, вздохнул, пошел, споткнулся на камень... - пффу!... - да как схватит его, хлоп об стену: - собака проклятая!

Снова вздохнул и побрел на кухню. Но тут словно как запретили ему заботиться обо всем, словно как не его уж дело быть кухмистером, чумичкой, прачкой, слугой. Постоял, постоял - пошел к воротам, сел на завалинку.

Вот Иван Данилович торопится что-то домой.

Филат и не думает вставать перед ним.

- Филат! - кричит издали Иван Данилович. Филат не отвечает.

- Филат! - повторяет Иван Данилович, озабоченный каким-то душевным довольствием, - собирай сейчас все, да переноси в дом: там покажут тебе комнаты.

- А обедать-то когда? - спросил Филат, вставая.

- Не нужно, там будет у нас и стол поварской.

- Иван Данилович! - проговорил Филат упрекающим голосом и качая головой.

- Ну?

- Иван Данилович! Бог с вами! Что вы делаете?

Как ни крепился Филат, а слезы брызнули, и он, закрыв лицо руками, зарыдал.

Иван Данилович как будто вдруг очнулся от очарования, понял упрек, остановился, смотрит на Филата, задумался.

- Иван Данилович! - начал снова Филат, - кого вы это слушаетесь, сударь, такие дела делать! Барыньки, что ли, послушались? Молода еще Марья-то Ивановна советы вам давать выходить в отставку. На деньги польстились, жалованья стало мало! Поди-ко-сь! До сей поры жили же, а тут вдруг, ни с того ни с сего... Ну, мало, возьмите и мое, какое ни на есть, все-таки деткам-то вашим на молочко да на кашку достанет. С меня и пайка довольно.

- Иван Данилович! - раздался из окна голос Марьи Ивановны.

Филат умолк. Иван Данилович, повесив голову, вошел в избу. Марья Ивановна сидела у окна и заливалась слезами.

- Машенька, душа моя, о чем ты плачешь? - спросил Иван Данилович, испугавшись.

Он привык к слезам полковницы и всегда смотрел на них равнодушно, но слезы Марьи Ивановны как будто канули ему на сердце.

- О чем ты плачешь, друг мой? - повторил он.

- Ни о чем, - проговорила Марья Ивановна и еще горчее залилась слезами.

Не понимая причины, Иван Данилович насилу унял слезы ее.

- О чем же ты плакала?

- Мне показалось, что вы передумали. Филат вам, Бог знает, что наговорил...

- Помилуй, я буду слушать Филата! Вот тебе раз! Что я - Вася, что ли, которому он сказки рассказывает? Филат! - крикнул Иван Данилович, - укладывай, да переноси все в дом!

- Да что, Иван Данилович, я уж вам не слуга: я служил вам, покуда вы на царской службе были. А теперь у вас там, чай, есть целая дворня...

- Как ты смеешь грубиянить?

- Я не грубияню, а правду говорю.

Иван Данилович вспыхнул гневом и заходил по комнате.

- Я сама уложу все, - сказала Марья Ивановна и бросилась все прибирать.

- Уж не извольте беспокоиться, сударыня, - сказал Филат, - не ваше дело.

В это время вошел человек, присланный от Чарова.

- Барыня приказала просить вас поскорее к себе, - сказал он, - а если что нужно переносить из поклажи, так я привел с собой двух человек.

- Вот кстати, - сказал Иван Данилович, - распорядись, душа моя, а я пойду.

- Хорошо, - отвечала Марья Ивановна с веселым взором и велела было пришедшему человеку нести чемодан.

- Куда нести? - крикнул Филат, - нет уж, я не позволю чужому человеку дотронуться до господского: я за все отвечаю. Ступай, брат! На руках-то тебе ничего не достанется нести: у нас есть бричка. Всякое дело хозяина знает. Ступай!

- Как прикажете? - спросил лакей у Марьи Ивановны, воображая, что Филат, верно, пьян.

Затронутое самолюбие взволновало ее, но, боясь грубого Филата, она проговорила:

- Ступай! Он сам уложит и перевезет.

Ни слова не говоря, надутый, как мышь на крупу, Филат исполнил свое дело; уложил все в бричку, запряг лошадей и донес Марье Ивановне, что все готово.

Переезд был не далек. Флигель по ветхости неудобен был для жительства. Ивану Даниловичу с семьей отвели две комнаты в доме; две комнаты, проникнутые насквозь тлением; но потолок еще держался, стены стояли; обои прикрывали смертные недуги их; но гноище проросло грибами из-за подполья. Их очистили, и комнаты, уставленные прочной старинной мебелью, показались для Марьи Ивановны, после черных и душных изб, роскошью, какой лучше желать нельзя.

Для прислуги дан был дворник и его единокровная дочь Татьяна. О завтраке, обеде, ужине, самоваре нечего было беспокоиться: в определенное время все это являлось, как в волшебных сказках. Толстый буфетчик придет, молча раскинет скатерть, поставит приборы, принесет кушанье, доложит: «Готово кушать, самовар готов!» - и дай Бог только хороший аппетит.

Филату негде уже приткнуться, не о чем похлопотать. Ходит, повеся голову, посмотрит на все да вздохнет. Ивану Даниловичу некогда обращать на него внимание. Иван Данилович написал уже прошение об отставке, отослал с нарочным в город на почту и стережет здоровье Саломеи, которая что-то расхворалась. Марья Ивановна и позабыла о Филате. Она еще восхищается всеми удобствами новой жизни.

Ходит Филат как убитый. Сначала звали его на кухню обедать; «Убирайтесь вы, с вашим обедом!» - отвечал он. Оставался еще запас черного хлеба, испеченного им для господ и для себя. Отрежет ломтик, съест, запьет водицей и сядет на крылечке или пойдет к воротам, как дождевая туча. Там никто не видит, как он утирает слезы.

Пройдет мимо него Иван Данилович, он встанет и стоит, повеся голову, покуда он пройдет. Но что-то у него на душе, что-то он сказал бы ему, да язык не поворотится. Вот вышел запас хлеба, провианту нет, неоткуда получать, а просить куска хлеба Филат не станет. Денег у него ни копейки.

Думает Филат думу, и надумался. Вошел к Ивану Даниловичу, который занят был составлением лекарства.

- Иван Данилович, - сказал он тихо.

- Что тебе?

- Извольте уж отпустить меня в полк, что мне здесь делать?

И с этими словами Филат утер рукой слезу, выступившую из глаз.

Иван Данилович взглянул на него, и хрустальная ступочка выпала у него из рук, разлетелась надвое; невольным движением столик, на котором он разложился со своей аптечкой, грохнулся; склянки, пузырьки разлетелись вдребезги.

Марья Ивановна вскрикнула от испугу.

- Иван Данилович, что вы наделали! - вскричал и Филат, бросясь подбирать все с полу.

Иван Данилович всплеснул руками и онемел.

- Это все ты, проклятый! - крикнул он наконец, - пришел тут толковать мне под руку!

- Да, кто ж как не я... Я, Иван Данилович, до сей поры служил верой и правдой, худого слова от вас не слышал; а тут... ну, да что говорить! Позвольте мне идти в полк.

- Ступай, убирайся! Вот тебе и все. Что я теперь буду делать без аптеки, Господи!

- Так так-то, Иван Данилович, на прощанье-то... Бог с вами. Прощайте, Марья Ивановна, Васенька. - И Филат зарыдал, выбежал вон; схватил свою амуницию, накинул сумку на плечи, перекрестился и пошел...

В это самое время Саломея лежала на диване и охала. Чаров ходил в каком-то недобром духе по комнате.

- Долго ль я буду ждать его, этого коновала!

- Послал. Сам пойду. - И Чаров, нахмутив брови и плюнув, так, чтоб больная не слышала, пошел к Ивану Даниловичу.

Иван Данилович сидел, повеся голову, а Марья Ивановна, приклонив голову к нему на плечо, утирала слезы. Перебитая вдребезги аптечка стояла перед ними на столике, как ящик Пандоры, из которого вышли все их несчастья.

- Что ж, Иван Данилович, - крикнул Чаров, входя, - скоро ли вы?

Иван Данилович и Марья Ивановна вздрогнули от неожиданного его появления и строгого голоса.

- Беда случилась, - проговорил робко Иван Данилович, вставая со стула.

- Что такое?

- Вот... разбилась... - отвечал Иван Данилович, приподнимая с полу отбитое горлышко пузырька.

- Что ж вы будете делать теперь - лечить без лекарства?

- Я напишу рецепт... можно послать в аптеку.

- В какую аптеку? В город почти сорок верст! Через час понадобится новое лекарство - опять посылай? Десять раз на день будете переменять лекарство, и все посылай?

- Что ж делать, свойство болезни такое...

- Скажите пожалуйста! Больной виноват, что вы не отыщете в своей медицине, чем его вылечить!

- Нет-с, это не то. Если бы, собственно, болезнь... так на болезнь есть лекарство, - начал было Иван Данилович, но доброе сердце его и робость не договорили правды.

- Позвольте, - сказал он, - я сам съезжу в город, пополню аптечку. Поутру я возвращусь.

- У-урод! - проговорил Чаров про себя. - Извольте ехать, да прошу вас, скорей!

Приказав запрячь немедленно тройку в повозку, Чаров, задумавшись и в тревожном духе, сам отправился на конюшню. Стоял безмолвно, покуда запрягали лошадей, потом начал ходить по двору; казалось, что он боялся войти к Саломее до возвращения доктора из города.

- Ох! уж мне эти болезни! - проговорил он, наконец, направив стопы к дому. - Оханья, стоны, жалобы... Урод! говорит, что это не болезнь! Здоровая скаatina! По нем - все притворяются страждущими, выдумывают разные боли, чтоб только иметь удовольствие пить его поганое лекарство. Какая скука! Фу, черт, навязал на шею тоску!

Между тем Саломея очень грациозно лежала на диване. Когда Чаров вышел торопить доктора, боли как будто утихли в ней; она о чем-то задумалась.

Боязнь быть узнанной матерью, и в то же время возгоревшаяся страсть к Георгию, который так хорошо, так вполне созрел для любви, подействовали болезненно на Саломею. Приехав в Притычино с Чаровым и решаясь на полную роль мадам де Мильвуа, Саломея не могла покорить в себе тяжких впечатлений собственной судьбы. Нервы ее были потрясены, дряхлый дом и мрачные комнаты, наводящие уныние и думу о невозвратном прошедшем, о бренности настоящего и неизвестности будущего, развили в ней страх и отвращение ко всему. Присутствие Чарова ей было тягостно; ласк его она не могла переносить; решительность упрочить судьбу свою в лице мадам де Мильвуа исчезла. И вот к расстроенному духу присоединилось притворное страдание то головной болью, то внутренним жаром, то расстройством желудка. Притворство входит в привычку, мнимая болезнь вызывает настоящую, воображаемую беду можно накликать; и все это обращается в боязнь за себя; а медицина за все отвечает. В этом положении была Саломея по приезде в Притычино. Желая восстановить в себе дух, она потребовала доктора.

Доктор на беду его нашелся под руками. Назначил диету, дал лекарства. А лекарства, говорят, из притворной болезни решительно рождают настоящую или, по крайней мере по системе Ганнемана, все признаки. Саломея больна, имеет все права жаловаться на болезнь. Но она чувствует, что от лекарства Ивана Даниловича все хуже и хуже.

Когда слышались шаги Чарова, который, не зная, как сказать ей о несчастье, постигшем аптечку Ивана Даниловича, шел медленно, придумывая успокоительные речи вместо успокоительных лекарств, Саломея вдруг почувствовала снова боль и заохала.

- Боже мой, я страдаю, - проговорила она, - никто не поторопится подать помощь!

- Успокойся, - сказал Чаров, - сейчас привезут лекарство. Вот видишь что: этот Иван Данилович думал довольствоваться своей глупой аптечкой, но я послал его в город за лекарством, необходимым для тебя. Он сейчас же возвратится.

- Ах, он меня уморит! Я это чувствую!

- Так лучше всего ехать в Москву, Ernestine. Поедем в Москву; там все лучшие доктора к твоим услугам. В самом деле, я также не очень полагаюсь на этого полкового лекаришку.

- В Москву... - проговорила Саломея, задумавшись.

- Когда твое здоровье поправится, мы возвратимся тотчас же сюда. А между тем здесь все будет возобновлено к нашему приезду, и мы проведем лето в блаженном уединении, - сказал Чаров, взяв руку Саломеи.

- Ах, постойте! Я не могу переносить принуждений, - глубоко вздохнула Саломея.

Чаров встал с места, также вздохнул и начал ходить по комнате.

Между тем Иван Данилович распростился с Марьей Ивановной и помчался в город пополнять свою аптечку.

Марья Ивановна была в отчаянии. Она не испытала еще горя разлуки. Ей страшно было отпустить Ивана Даниловича в дорогу без себя; Бог знает, что может случиться. Со слезами на глазах она проводила Ивана Даниловича, простояла до сумерек на крыльце, смотря на дорогу, возвратилась в комнату как убитая, не спала целую ночь, просидела целое утро у окна и в этом положении забылась, несмотря на крик и шум детей.

Но вот около полудня возвратился благодатный. Соскочив с повозки, Иван Данилович вбежал в комнату, крикнул: «Машенька!», бросился к жене и так перепугал ее, что она, очнувшись, задрожала, насилу пришла в себя и, вместо радости, залилась слезами.

Успокоив ее, Иван Данилович принялся составлять микстуру; составил и побежал на другую половину. Двери заперты; никого нет.

Он в переднюю, и в передней пусто. Он опять к дверям, постучал легонько - никто не отвечает.

- Что ж это значит?

Вышел на крыльцо. Видит, что Трифон запирает ставни.

- Трифон, где люди?

- Какие?

- Да вот... ваши, - проговорил Иван Данилович.

- Какие наши? Господские-то? Уехали с баринном.

- Как уехали?

- Да так, как уезжают. Барин поехал в Москву, и они за ним.

- А госпожа?

- А госпоже-то здесь, что ли, остаться одной?

- Да ведь она больна.

- Ага; ее так-таки сам барин под руки в карету посадил.

- Скажи пожалуйста... как же это! - продолжал расстроенный этой новостью Иван Данилович.

- Как, как?

- Да скажи пожалуйста... ведь... Да что ж барин сказал, уезжая?

- Ничего не сказал. Он был что-то не в духе. Чуть-чуть было не прибил кучера за то, что лошади дернули, как он сажал госпожу-то в карету.

- Хм! - произнес Иван Данилович, задумавшись и возвращаясь в свои комнаты. - Машенька, помещик-то уехал в Москву. Что ж ты мне ни слова не сказала?

- Да и я не знала, мне только сейчас сказала Татьяна; я спросила, что ж не подают чай, а она говорит: «Да кому ж подавать-то: буфетчик уехал с баринном».

У Ивана Даниловича руки опустились.

- И все уехали, и повар уехал, и обеда не готовили... Я не знаю, что ж мы будем обедать? - сказала смущенная Машенька, смотря на Ивана Даниловича.

- Что ж это такое! - проговорил он, - я уж этого и не понимаю. Верно, она опасно заболела. Он, верно, сделал какие-нибудь распоряжения. Пошли Татьяну за управляющим Васильем.

- Ох, подите вы! Пойду я к этому озорнику! - отвечала Татьяна.

Иван Данилович отправился сам.

Управляющий Василий был не что иное как дворовый человек, которому поручено было собирать и доставлять к барину оброк с имения.

- Барин уехал? - спросил Иван Данилович.

- Уехал, - отвечал Василий, который привык только с баринном и при барыне говорить по-человечески.

- Он... говорил насчет меня что-нибудь? - продолжал Иван Данилович.

- Что такое-с?

- Насчет положенья... обо мне?

- Об вас? Никак нет, ничего не говорил, - отвечал Василий, посмотрев искоса на Ивана Даниловича.

- Это странно!

- Дать вам подводу, что ли, ехать отсюда?

- Какую подводу: барин твой предложил мне быть медиком при этом именье.

- При этом именье? - повторил Василий подозрительно. Ему тотчас же пришло в голову опасение, чтоб Иван Данилович не сделался в имении господским глазом.

- Да, при этом именье. Он сказал, что мне будет доставлено здесь все необходимое.

- Не знаю; тут у нас ничего нет.

- Каким же это образом? Мне нужна провизия, и по крайней мере кухарка.

- Этого уж я не знаю.

- Но, вероятно, барин забыл отдать тебе приказ.

- Не знаю; у нас провизии никакой тут нет, ни заведений нет никаких, - пробормотал Василий под нос себе, зевая.

- Я напишу к барину, а между тем мне нужно что-нибудь есть, - сказал взволнованный Иван Данилович.

- Этого уж я не знаю, - повторял Василий с убийственным равнодушием.

В отчаянии и недоумении что делать, Иван Данилович возвратился в дом.

- Забыл распорядиться насчет меня! Это ни на что не похоже! - крикнул он, хлопнув фуражку на стол. - Что мы будем делать? Это ужас! Наконец, что-нибудь есть надо, а тут никакой даже провизии!

Но Марья Ивановна кое-как распорядилась уже о чае и обеде. Сама поставила чайник, Татьяну послала купить на селе курицу, масла, молока, каких-нибудь овощей.

- Что ж ты беспокоишься, что за беда такая, что забыл? - говорила Марья Ивановна в утешение мужу. - И ты, я думаю, забыл бы все, если б я, избави Бог, опасно заболела. Напиши к нему, вот и все. Он и пришлет приказ управляющему отпускать нам все, что нужно.

- Напишу, - проговорил Иван Данилович. - Да, это все-таки неприятно - сесть на мели! Черт меня принудил подавать в отставку, да еще и Филата отпустили.

- Полно, пожалуйста, как тебе не стыдно говорить такие вещи!

Утолив свой голод стряпаньем Марьи Ивановны, Иван Данилович успокоился.

- И в самом деле, - сказал он, - с таким капризным чертом как его жена, не трудно все забыть. Я ему напишу.

Иван Данилович написал что следует к Чарову, послал письмо к управляющему, чтоб отправить к барину, но управляющий отвечал, что ему не с кем посылать.

Иван Данилович принужден был нанять посланца.

Ждет ответа неделю, две. А между тем настали сильные дожди. Стены отсырели, текут, холод в комнатах ужасный.

- Любезный, здесь жить нельзя, - сказал Иван Данилович, призвав Трифона, - отведи, пожалуйста, другие комнаты.

- Об этом уж извольте написать барину: без его приказу я не смею, - отвечал Трифон.

И вот новое письмо к Чарову. Проходит месяц, ни ответа, ни привета. А между тем деньги на исходе, а жалованья не ждать...

Иван Данилович и Марья Ивановна в отчаянии. Начинают уже припоминать счастливое житье-бытье в полку, вспоминать Филата и его слова.

- Вот оно, душа моя, - повторяет Иван Данилович, - Филат-то правду сказал, что выйдет болтун.

У Марьи Ивановны часто уже слезки на глазах.

Написал Иван Данилович еще и еще письмо к Чарову. Но Чарову не до него: у Чарова на руках Саломея. К тому же в докторе ему уж нет необходимости.

- Скаатина! Что он тут городит? Ведь я дал ему сто рублей серебром за визит, чего ж ему больше? Написать к нему, что медик при именье уж не нужен: может опять поступить на службу, в полк.

*(Продолжение следует)*

**Александр Фомич Вельтман.**

*Боже, спаси меня от друзей,  
а с врагами я и сам справлюсь.*

*Когда игра заканчивается, король и пешка падают в одну и ту же коробку.*

# ЧЁРНАЯ ЖЕНЩИНА

**Николай Греч**  
**С.-Петербург, 1796**  
 Роман.

*Начало в № 74*  
*Книга вторая*



XXXIV



Кемский лежал в безмолвии на диване и смотрел пристально на потолок комнаты. Алимари стоял у окна и глядел на улицу. Вдруг раздался глухой бой барабанов, и вслед за тем послышались унылые звуки погребальной музыки.

- Хоронят французского генерала, - сказал Алимари, как будто желая успокоить Кемского, который мог быть изумлен и испуган этими необыкновенными звуками; но Кемский не обратил внимания на эти слова; казалось, и вовсе не слышал их. Печальное шествие проходило мимо окон.

- Почий с миром, храбрый, благородный воин! - говорил Алимари вполголоса. - Ты совершил свое земное поприще как честный человек и усердный гражданин! Обогрел кровию врагов твоего отечества шпага лежит, как должное украшение, на гробе твоём, но в самом гробе покой, мир и отдохновение во трудах. Ты храбро и мужественно сражался с врагами явными и скрытными; враги чтили и уважали тебя, соотечественники преследовали; но ты не совратился с пути, предначертанного честью, долгом, присягою. Ты не уныл, не упал духом под ударами судьбы, преследующей человека в земной жизни. Ты имел в виду цель высшую, благороднейшую и теперь достиг ее: претерпел до конца и положил страннический посох свой лишь там, где провидение назначило предел твоей жизни. Теперь ты освобожден, успокоен, награжден. Блаженство там - благословения здесь!

Кемский начал прислушиваться. Алимари, заметив это, умолк. Кемский спросил:

- Какого генерала хоронят?

- Чемпионета, - отвечал Алимари сухо.

- Как, Чемпионета? - спросил Кемский с горестным изумлением. - Покорителя Неаполя и Рима, победителя Мака?

- Того самого, - отвечал Алимари, - того самого, которого уважал и чтит Суворов. За подвиги и услуги отечеству был он награжден гнусною неблагодарностью, и, когда отечество, на краю гибели, воззвало к нему, он вновь взялся за оставленный меч и стал на страже. В несчастии, в гонениях он не унизился, не возненавидел жизни, зная, что человек сам в ней не властен. Настала его черда - и он успокоился.

- Преследование, гонение, тюрьма, - возразил Кемский, - все это ничто, когда в сердце хранится еще надежда, когда мы знаем, что есть в мире люди, которые одним словом, одною улыбкою наградят нас за претерпенное нами.

Алимари обрадовался этому ответу: кто спорит, кто доказывает, тот уж не в отчаянии.

- В этом мире, говорите вы? Жалко утешение, которое ограничивается этим ничтожным, временным миром рабства и тления! Жалок человек, который, от обыкновенных неизбежных всякому бедствий в жизни, может впасть в отчаяние, презреть провидение, восстать против своего творца! Он не знает, чего лишается в вечности.

- Неужели, - возразил Кемский с видом оскорбленного самолюбия, - нет случаев, нет горестей в жизни, которые не могли бы преодолеть слабого человека?

- Слабого, конечно, но человек слабый не есть человек истинный, царь земного творения.

- Нет, - сказал Кемский, - часто случается, что долг и совесть, честь и правила веры приходят в борение между собою, и человек, впрочем сильный характером и твердый духом, падает от ударов высшей силы.

- Вы говорите о тех случаях, в которых долг гражданина и сына отечества находится в борении с правилами человека и христианина. Не вам, русским, упоминать об этих случаях: у вас один бог, один царь, одно отечество! Живите и умирайте за них: вы исполните все свои обязанности, и они никогда одна другой противоречить не будут. Чтоб доказать вам, до какой степени можно из любви к своему долгу заглушить в сердце голос природы, приведу еще пример: я должен взять его в рядах ваших неприят-

телей. Пример этот представляет вам генерал Моро. В то время, когда он, сражаясь за Францию, оборонял ее от натиска сильных врагов, неистовые изверги, называвшиеся правителями его отечества, казнили родного его отца. Человек слабодушный, хотя б и добрейший сердцем, бросил бы службу неблагодарному отечеству, но Моро умел отличить Францию от ее притеснителей: проливая слезы о невозвратной потере, он не забывал обязанностей гражданина, не унывал душою, не ослабевал в усердии к родине жестокой, но всегда любезной!

- Так! - сказал Кемский сквозь слезы. - Моро поступил в этом случае, как истинно великий человек; но вы не знаете, как жестоки могут быть иногда удары судьбы, как неисцелимы раны сердца! Вы не знаете...

- Не знаю? - вскричал Алимари с жаром и в некотором исступлении. - Не знаю? Нет, друг мой! Я знаю, слишком хорошо знаю эти потери, эти страдания, которым предел - только во гробе! - Сказав эти слова, он громко зарыдал.

Кемский изумился: он никогда не видал своего друга в таком положении. Твердый, благоразумный, убеленный сединами, охлажденный летами, Алимари рыдал, как дитя, как юноша, лишившийся подруги своего сердца.

Через несколько минут Алимари обратил наполненные слез глаза свои на Кемского.

- Молодой человек, - сказал он ему, - это невольное изливание чувств старика, стоящего уже одною ногою в гробу, вас изумило. Но я не в состоянии был удержаться от слез при воспоминании об одном ужасном случае моей жизни. Я никому не говорил о нем, потому что не надеялся найти человека, который мог бы постигнуть и оцепить всю жестокость моих страданий. С вами же разделю воспоминание, которое с лишком сорок лет тяготит мое сердце.

Кемский при этих словах друга забыл на минуту собственное горе и страдание, не отвечал ни слова, но любопытным взглядом дал знать, что готов слушать.

### XXXV

- Я не буду много распространяться, не буду искать, выбирать выражений. И простой рассказ этого периода моей жизни едва ли не истощит сил моих. Слушайте!

Вы помните, думаю, что я, сообщая вам историю свою, умолчал о десяти годах моей жизни; вы помните, что я вам говорил о нежелании моем вступить в духовное звание. Я умолчал тогда об истинной причине моего отказа: причина эта была любовь. Любовь - чувство благороднейшее, святейшее из вложенных творцом в сердце человеческое, чувство, которое, как по всему видно, становится реже и реже в свете, которое вскоре будет пылать в сердце только немногих избранных, а прочим известно будет лишь по сказаниям минувшего века. Предания и развалины священной старины, заветы родительские, игры детских лет, мечтания юношеские - все это истребляется тлетворным дыханием эгоизма, властолюбия и алчности к золоту, все поглощается так называемую политикою, равенством, свободою, как цветущие города и поля покрываются истребительною лавою, составляющею на них, по охлаждении, ровную поверхность. Мы мечтали, мы любили, мы блаженствовали! Вы еще видите закат того светила, которое лучами живило мир пиитический, волшебный. Близкие наши потомки станут читать в книгах повесть о бывшем, незнакомом им веке Астреи: одни не будут верить, чтоб он когда-либо существовал; другие станут осыпать его насмешками и презрением. Едва ли немногие избранные будут питать в сердцах огонь священный. Но, может быть, все клонится к лучшему, только не для нас, запоздалых в мире гостей из прошлого века!

Вы знаете, что я учился в Павийском университете. Я учился прилежно, неутомимо, страстно. Особенно занимала меня древняя литература, преимущественно греческая, занимала не столько важностью своих произведений, сколько священным благоговением, возбуждаемом во мне помыслами о юных днях мира, о свежей жизни эллинов. Мне не довольно было книг печатных: я списывал их на свитках, стараясь подделываться под самую древнюю скоропись; стихи Гомера писал уставом по образцам, оставшимся на памятниках и медалях. Профессор мой полюбил и отличил меня за это предпочтение его предмета, но не мог заняться мною исключительно. Он познакомил меня с своим бывшим учителем, осьмидесятилетним иезуитом, который, отслужив в профессорской должности пятьдесят лет, посвящал остальные годы жизни своей изучению любимого предмета.

Он жил уединенно, в предместьи города. Я приходил, когда мог удосужиться, к почтенному старцу и читал с ним авторов, поэтов греческих. Вскоре увидел я, что нашел клад в этом старике: он любил древнюю Грецию до исступления и, как я слышал, за это страстное обожание языческого времени и народа был в самой



молодости притесняем начальниками своего ордена. Его употребляли как знающего и искусного профессора, приносившего честь обществу св. Игнатия, но не давали ему ходу в иерархии: он всегда оставался простым монахом. Это стеснение отнюдь его не огорчало; напротив, он радовался, что занятия духовные не мешали его любимым упражнениям. Жизнь отшельническая и непрерывное занятие ума одним и тем же предметом неминуемо должны были действовать на его душевные силы: он действительно помешался на греческом языке, утверждал, что нашел истинное греческое произношение и открыл настоящую мелодию древнего напева эллинов. Можно вообразить, как он обрадовался, найдя во мне ученика прилежного и страстного. Я проводил у него целые утра. Старик с восторгом сообщал мне свои правила, наблюдения и открытия, но иногда в середине речи останавливался и, пристально посмотрев на меня, говорил: "Жаль!" Потом обращался опять к любимому предмету.

Я был бы еще вдвое прилежнее, если бы одна мечта не отвлекала меня от древней Эллады. Я заметил в одно воскресенье в иезуитской церкви молодую, небогато одетую девицу, молившуюся с выражением глубокого чувства. Она стояла на коленях, обратясь к главному алтарю. Сначала не мог я видеть ее в лицо: гибкий стан, лебединая шея, херувимская головка - все обличало в ней красавицу. Я протеснился к ней сбоку и ждал окончания молитвы. Незнакомка приподнялась и обратилась к образу, висевшему на той стороне, где я стоял. Облик ангела, взгляд праведницы, слезы христианского умиления - поразили меня. Я едва не закричал, чуть не упал, удержавшись за перила ограды. Легкое дымчатое покрывало спустилось на прелестное лицо. Девица, преклонив еще раз колени пред алтарем, пошла из церкви, сопровождаемая другою женщиною. Я не смел следовать за нею. Незнакомка дотоле новая жизнь возникла в душе моей: все предметы облеклись в глазах моих радужными цветами; на лицах женщин искал я, чего и сам не знал, искал выражения лица знакомки. Я искал и ее самой, но напрасно. В церкви она не являлась. Впрочем, как ни желал я увидеть ее еще раз, как ни горел нетерпением узнать, кто она, - душа моя довольствовалась воспоминанием: она питалась лицом божественным, явившимся на минуту и заронившим в нее искру вечного огня. И рассудок говорил мне, что я не должен доискиваться того, что благодетельное провидение, может быть, с умыслом, от меня скрывает: пусть одна душа наслаждается тем, что для души создано! Мечтания юных лет! Но стоит ли вся остальная существенная жизнь наша этих мгновенных мечтаний?

Мысль о знакомке наполняла меня всего: я учился и занимался прилежно по-прежнему, но только механически. Все греческие буквы старинных манускриптов казались мне обведенными красною каемкою; только те места классиков занимали меня, где говорилось о женщинах. Этих жен, этих дев юной Эллады, думал я, давно уже нет в мире: так и моя мечта существует для меня только в воображении. Мой наставник стал замечать мою рассеянность, невнимательность, забывчивость и, видимо, этим огорчился. Он начал сперва стороною, а потом и прямо упрекать меня в небрежении, в холодности к великому предмету изучения древности. Я пытался было возобновить в себе прежнее рвение к любимой науке, но оно улетело невозвратно. Наконец решился я сказать почтенному старцу, что сухость предмета наших занятий убила во мне всю охоту к учению и что молодому человеку нет возможности долго заниматься исследованием мертвого языка.

- Мертвого! - вскричал оскорбленный старец. - Мертвого! Сын мой! Что ты сказал? Мертвы только те языки, которыми человек выражает свои земные нужды и страсти. Но язык Греции, язык Платона и Демосфена, Гомера и Софокла, язык Божественного Откровения - ты называешь мертвым! Он жив, как живо солнце Адама!

Я извинился в неосторожности выражении, но присовокупил, что подробное изучение столь великого предмета превосходит мои силы.

- Твои силы! - воскликнул он. - Твои силы! У тебя силы атлета, у тебя память железная, у тебя... довольно! Я докажу тебе, что не нужно исполинских сил, не нужно продолжительного занятия для постижения предмета, если только мы обнимем его душою. Приходи ко мне сегодня вечером, когда смеркнется. Теперь ступай, подумай на свободе о неразумии слов своих и принеси чистое покаяние! Неужели я в тебе ошибся! Неужели одна... ступай с богом, сын мой!

Последние слова произнес он дрожащим от душевного волнения голосом. Мне жаль стало почтенного старца. Я повиновался: вечером, лишь только смерклось, отправился я к нему, нетерпеливо желая знать, чем он докажет обязанность мою учиться греческому языку. Он встретил меня на пороге дома, ввел в приемную комнату, в которой не было свеч, велел мне сесть в углу и молчать, а сам вошел в кабинет, не запирая за собою дверей, и только задернул их занавесю.

- Продолжай, Антигона! - сказал он кому-то. Женский голос начал читать Софоклова "Эдипа в Колоне", именно приветствие хора несчастному слепцу. Невидимая читала смело, чисто, с строгим наблюдением размера. Когда она начала вторую антистрофу, старик потребовал объяснения некоторых мест. Тот же голос отвечал ему. Засим началось пение: приятнейший женский голос, какой когда-либо раздавался под сводами неба Италии, запел прочитанные строфы на мелодию, вымышленную стариком: он сам дрожащим голосом стал вторить - и я перенесся мыслью в глубокую древность, в то судилище, которое, выслушав эти стихи Софокла, отринуло донос неблагодарных детей, обвинявших его в безумии. Когда утихло пение стихов Эдипа, началось чтение прозы Демосфеновой. Старик останавливался на каждом периоде, на каждом сомнительном слове, требовал объяснения и получал его. После такого подробного разбора тот же голос женский прочитал разобранные периоды по правилам декламации моего учителя. Голос был так же чист и приятен, как прежде, но нежность и мягкость его уступили место величию и твердости. По окончании чтения раздался звук одобрения: старик поцеловал эллинистку. Свет в кабинете исчез. Он вышел ко мне, взял меня за руку, подвел к двери на улицу и сказал торжественным голосом:

- Ты слышал, чего может достигнуть слабая женщина. Стыдись. Теперь ступай с Богом!

Голос невидимки проник глубоко в мою душу и сначала едва не изгладил из нее прежнего впечатления, произведенного зрением. Но потом слились обе мечты, и я начал воображать себе, что невидимая Антигона была действительно слышанная мною девица. Эта мысль возбудила во мне прежнее рвение к эллинской древности. Старик видел чудесное действие примера и восхищался своею стратегмою. Так неопытный поэт радуется успеху актрисы, читающей его стихи, и приписывает произведению своей фантазии действие прекрасных глаз! Но для меня мои идеалы оставались идеалами: незнакомки я по-прежнему не встречал нигде; невидимки не слышал, ибо старик принимал меня лишь по утрам в своем отдельном кабинете, сообщавшемся с сенями посредством приемной залы: я никогда не видал у него никого постороннего. Иногда слышались шорох и невнятные отдаленные голоса из жилых покоев. По вечерам дом был неприступен. Однажды я с умыслом забыл у него книгу и вечером пришел за нею, но не мог достучаться. Утром, видно, мой старик жил в кабинете ученого; вечером - запирался в келье монаха.

Чрез несколько месяцев после того единообразные занятия мои прерваны были поездкою к дяде, в Виченцу. Пробыв там недели две, я воротился в Павию и тотчас по приезде пошел навестить почтенного моего наставника. Двери его дома были заперты, по обыкновению, но в этот раз я не мог достучаться. "Странно! - подумал я. - Неужели никого в доме не осталось?" - и опять начал стучать. В соседнем доме высунулась в окошко старуха и с недовольным видом спросила, кого мне надобно.

- Отца Валентина! - сказал я.

- Он умер, - отвечала она, - сегодня хоронят его в иезуитской церкви.

Эта весть поразила меня: я был молод и не привык еще к утратам; теперь, если умрет кто из приятелей моих, мне кажется, что мы с ним были в гостях, и он только ранее меня пошел домой, где я вскоре найду его. Я побежал в иезуитскую церковь. Там, в одном скромном приделе стоял гроб, освещаемый тусклыми лампадами. Хор иноков окружал почившего брата и пел хвалебные гимны неисповедимому. Поодаль у стены стояло несколько женщин в траурной одежде и покрывалах. Они тихими голосами вторили пению; иногда казалось мне, что я в этих унылых звуках слышу что-то знакомое. По окончании обряда братия подняли гроб и понесли на близлежащее кладбище. Женщины последовали за ними. Я шел подле.

- Не вы ли синиор Алимари? - спросила одна из них дрожащим от старости голосом.

- Я Алимари, - отвечал я.

- Покойный брат мой искренно вас любил и, чувствуя приближение кончины, хотел видеть. Но вас не было в Павии. Это его огорчило. Он скончался, твердя ваше имя.

- Так вы сестра моего почтенного наставника! А это? - сказал я, указывая на женщину, которая шла подле нас, тихо рыдая.

- Это дочь моя, его крестница и ученица, теперь совершенная сирота: я ей не подпора!

Мы подошли между тем к могиле, опустили гроб при молитве священника, при пении монахов и при общих рыданиях. Покрыв хладною землею останки друга, мы воротились в город. Я шел за сестрою покойного, сам не зная для чего. Она остановилась с дочерью у одного дома и спросила, не хочу ли я посетить ее на минуту. Я согласился; мы вошли в комнаты, убранные не богато, но чисто и со вкусом.

- Антигона! - сказала старушка дочери. - Помоги мне принять нового гостя.

"Антигона? - подумал я. - Это она - невидимка". В эту минуту они сняли с себя покрывала. В матери увидел я женщину почтенного вида, как казалось, кроткую и добродушную, когда же обратил глаза на дочь, узнал мою незнакомку. Мечта моя осуществилась: Антигона была действительно та самая девица, которая красотой своею поразила меня в церкви. Я смутился. Хозяйки мои приписали это застенчивости, начали говорить со мною, старались ободрить. Я оправился, вслушался в их речи, стал отвечать и через час познакомился с ними, как будто знал их несколько лет. Вскоре узнал я все подробности их состояния и жизни. Мать была вдова художника, умершего, когда Антигона едва начала себя помнить. Дядя взялся за воспитание племянницы и, преподавая ей уроки в первоначальных знаниях, заметил в ней необыкновенные дарования и способности. Это родило в нем желание воспитать племянницу, как бы племянника, познакомить ее с высшими науками, с языками и литературою древности. Антигона училась охотно и прилежно, радовалась своим успехам, ибо они восхищали ее благодетеля, но не догадывалась, что познания ее редки и необыкновенны в женщине, потому и сохранила скромность, смирение, кротость своего пола; твердя стихи Гомера и Софокла, готовила умеренный обед своего семейства и пела строфы Анакреона как обыкновенные народные песни. Старик дядя жил в одной с ними квартире, имевшей выходы на две улицы. Приходившие к нему поутру не догадывались, что он живет в семействе. Вечером уходил он в другую половину дома и занимался обучением Антигоны.

Через два года я сочетался браком с Антигоною. Не буду говорить вам, как я был счастлив, счастлив несколько лет: на это не станет у меня слов. Дядя не соглашался на брак мой, готовя меня в духовное звание, и, когда узнал, что я женился, написал ко мне, чтоб я не ожидал от него никакого пособия, что он предоставляет меня судьбе моей... судьбе моей! Мать моей жены в том же году скончалась. Нам нечего было делать в Павии. Один университетский товарищ, родом португалец, пригласил меня к себе, в Лиссабон, обещая доставить мне хорошее место. Мы туда отправились. Я поступил в службу под начальство министра Помбаля, одного из величайших государственных мужей истекающего столетия, досужие часы проводил я в беседе моей Антигоны, в занятиях науками. Бог даровал нам двоих детей. И ныне, по истечении полувека с того времени, каждый день, отходя ко сну, я молю неисповедимого подателя благ душевных воскресить для меня в мечте дни молодых лет: иногда молитва бывает услышана, и это случается только тогда, когда в течение дня мне удалось сделать что-либо доброе, укротить в сердце чувство самолюбия или нетерпения, помочь ближнему. Тогда переносюсь я во сне в Лиссабон; сижу в саду моем, под тению каштанов; подле меня сидит Антигона. Антонио трехлетний играет у ног наших. Елена у ней на руках.

Алимари при сих словах затрепетал всем телом, слезы навернулись у него на глазах, голос его пресекался. Кемский взял его за руку с выражением сердечного участия - и сам заплакал.

- Что ж с ними сделалось? Где они? - спросил он.

- Первого ноября пятьдесят пятого года, - продолжал Алимари, - я был счастливейшим человеком в мире, но какое-то мучительное волнение, как бы предчувствие несчастья волновало грудь мою. Воздух в тот день был необыкновенно тяжел. Густые тучи носились над Лиссабоном. Зловещие птицы хриплым криком предвещали жестокую бурю. Я лег спать в ожидании какого-то неизвестного бедствия. Странные мечты вскоре разбудили меня. Проснувшись, вижу Антигону: она стоит на коленях пред распятием и, заливаясь слезами, усердно молится.

- Что с тобою, друг мой? - спросил я в беспокойстве.

- Мне страшно! - сказала она. - Хочу подкрепить и успокоить себя молитвою!

Я хотел было отвечать ей, но вдруг ужасный грохот и треск на улице изумил и ужаснул меня.

- Что это? - закричала с трепетом Антигона и кинулась к спящим детям.

Я набросил на себя платье и поспешил выйти из дому. На улице, полной уstraшенного народа, раздавались вопли ужаса и отчаяния. Земля колебалась под моими ногами, стены огромных зданий падали, как карточные домики, и давили людей под собою. Ночь была темная. Гром небесный вторил подземному грохоту. Молнии ежесекундно освещали картину опустошения. Сделав несколько шагов по улице, я обратился назад к своему жилищу, но уже бездонная пропасть отделяла меня от моих. Я стоял в двадцати шагах от своего дома, в мертвенном оцепенении, сам не зная, где я и что со мною делается. Вдруг сверкнула молния: Антигона стояла у окна, держа в руках детей; увидев меня, она закричала: "Прости навеки!" Еще молния - и я видел, как дом мой рухнул в бездну. Я чувствовал, что на меня посыпались камни, и больше ничего не помнил. На другой день, сказывают, меня вытащили из-под груды развалин. Не знаю,

что происходило со мною с того времени. Я очнулся, как говорил вам, чрез год после того, в Бадахосе - на руках добрых монахов, одинокий сирота, забвенный в мире. Я пошел в Лиссабон; на том месте, где был дом мой, лежали груды камней. Все исчезло навеки.

- И вы остались живы? - спросил Кемский.

- Живу, ибо так угодно создавшему меня; живу и жизнь стараюсь заслужить место подле жены и детей моих.

- И вы не находите в этом случае, что судьба жестоко поступила с вами, что она с адским злорадством погубила невинных, а вас пощадила, вам дала долголетие, чтоб ежедневно возобновлялись в вашем сердце мучительные воспоминания! И вы не клянете часа своего рождения?

- Нет, - отвечал Алимари тихо и протяжно, - ежедневно благословляю и благодарю Провидение: оно знает, что делает. И чем долее живу, тем тверже, усладительнее становится во мне мысль о премудрости, правосудии и благодати Божиих и в самых грозных для человека явлениях. Признаюсь, иногда возникал в душе моей ропот на неопостижимость судеб человеческих, но он утихал при первом взгляде моем на этот свет, при помышлении о таинственности духовного мира. В ту ночь, которая разрушила все мое земное счастье, одна великая государыня, великая в женах, Мария Терезия, дала жизнь принцессе, рожденной со всеми правами и надеждами на счастье в мире. Я был свидетелем торжественного въезда Марии Антонии в Францию, неоднократно видал ее и посреди великолепного двора, и в простом одеянии помещицы трианонской и при взгляде на нее не мог удержаться от тайного трепета, от тайного негодования на судьбу, в одно и то же мгновение отнимающую у одного человека все и все дающую другому. Но потом, когда душевные страдания, все жесточайшие удары судьбы посыпались на эту несчастную принцессу, когда она сведена была с трона в темницу, лишилась супруга, разлучена была с детьми, когда в одну ночь поседел ее волос, и на другой день она взошла на эшафот, - тогда в растерзанной страданиями ближних душе своей я принес покаяние господу, что дерзаю роптать на него, видя счастье, возникшее в один день с моими страданиями, и благословил невидимую десницу, меня покаравшую.

- Удивляюсь вашей твердости, вашей покорности судьбе, - сказал Кемский, - но не постигаю, как можно пережить тех, для кого мы жили в мире. Для меня, в нынешнем моем положении, смерть, и самая мучительная, была бы благодеянием. Что мне осталось в мире?

- И русский спрашивает об этом! - сказал с жаром Алимари. - У вас осталось отечество, и в отечестве вашем люди, достойные вашей любви, вашего попечения.

- Отечество? - возразил Кемский. - Где оно? Я пленник, на чужбине, может быть, осужден несколько лет томиться в неволе. И что отечеству во мне! Я отжил свой век.

Алимари хотел возразить, радуясь, что Кемский начал спорить - знак, что раны сердца его заживают. В это время постучались у дверей, и на отзыв Кемского вошел французский офицер, держа в руках шпагу с русским темляком.

- Вы ли поручик князь Кемский? - спросил он учтиво.

- Я, сударь. Что вам угодно?

- Республика Французская заключила мир с Империей Российской. Первый консул, чья вашего императора, уважая храбрость русских, возвращает всем пленным свободу. Я прислан сюда для извещения об этом пребывающих здесь офицеров. Вот ваша шпага; примите ее из рук недавних врагов ваших, умеющих чтить воинские доблести. Все приготовлено к вашему отъезду. Вы можете ехать в свое отечество когда угодно.

Изумленный Кемский, взяв в безмолвии шпагу, не знал, что отвечать. Офицер поклонился и вышел.

- Верите ли теперь, что есть Провидение, которое посреди жестоких испытаний указывает нам путь долга и чести? - сказал Алимари.

- Верю! - воскликнул Кемский и бросился в объятия друга.

*Продолжение следует...*

**Николай Греч.**

*С.-Петербург. Роман впервые издан в 1834 году.*



*Умный – ближайший кандидат в неврастеники... Он не живет – он терпит дураков. Он изгой, «внутренний эмигрант», несчастное существо из другого мира, случайно заброшенное в мир дураков и не знающее, как из него выбраться. Александр Бурьяк.*